

---

# НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ И КОММУНИКАЦИИ

## SCIENTIFIC LIFE AND COMMUNICATION

---

24 мая в Белгороде стартовал Российский фестиваль православных интеллектуальных клубов и духовно-просветительских центров «Прохоровский прорыв». Организатором выступил Белгородский государственный институт искусств и культуры при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017». Журнал «Научные ведомости БелГУ» серия «Философия. Социология. Право» публикует наиболее интересные статьи, подготовленных на основе докладов, прочитанных участниками фестиваля.

УДК 17.03

### ИНТУИЦИЯ СМЫСЛА (ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ)

#### INTUITION OF MEANING (ON ONE FEATURE OF RUSSIAN PHILOSOPHY)

**В.В. Варава**  
**V.V. Varava**

Московский православный университет св. Иоанна Богослова,  
Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 11 А

Moscow Orthodox University of John the Theologian,  
11 A Chernyshevsky per., Moscow, 127473, Russia

E-mail: vladimir\_varava@list.ru

**Аннотация.** Вопрос о русской философии является одним из главных, определяющих дух и стиль национальной традиции. Среди многих особенностей русской мысли выделяется одна, связанная с острым переживанием бессмысленности мира и, соответственно, с попытками отыскать подлинный высший смысл бытия. Это переживание представлено как интуиция, которая в большей мере соответствует нетрактатному духу философской литературы, нежели академической традиции философского рационализма. Искания Пушкина, Толстого, Чехова и других русских писателей-философов связаны с этим. Делается вывод о том, что борьба за смысл представляет собой наиболее важную характерную особенность русской философской культуры, которая выходит за границы понимания философии как апологии христианства.

**Resume:** The question of Russian philosophy is one of the main, defining the spirit and style of the national tradition. Among the many features of Russian thought one stands out, connected with the acute experience of the meaninglessness of the world, and, accordingly, with attempts to find the true higher meaning of being. This experience is presented as intuition, which more in line with the non-racial spirit of philosophical literature, rather than the academic tradition of philosophical rationalism. The searches of Pushkin, Tolstoy, Chekhov and other Russian philosopher-writers are connected with this. It is concluded that the struggle for meaning is the most important characteristic feature of Russian philosophical culture, which leaves the boundaries of understanding philosophy as the apology of Christianity.

**Ключевые слова:** русская философия, русская литература, поиск смысла, интуиция бессмысленности, жизнь, смерть, христианство, этика.

**Keywords:** Russian philosophy, Russian literature, the search for meaning, the intuition of meaninglessness, life, death, Christianity, ethics.

---

Стремление понять русскую философию не прекращается с того момента, когда П.Я. Чаадаев задал свои эвристически-парадоксальные вопросы о самобытности русской культуры. Сам процесс понимания отечественной философской мысли, диапазон которого весьма широк (от полного отрицания до неоправданной ее апологетики) превратился в *герменевтику русской философии*, ставшую чуть ли не ее типологической чертой.

Наиболее внятной и определенной является русская религиозная философия, имеющая достаточно четкую хронологию и телеологию. А.Н. Паршин считает, что она была ответом на «вызов русского атеизма»: «... в начале прошлого века русская религиозная философия была, как бы к ней ни относиться. Именно она и была *ответом* на волну атеизма в обществе и народе. Или, скорее, попыткой ответа на вызов русского атеизма, попыткой, как видно теперь из будущего, запоздалой и не вполне удавшейся» [Паршин, с. 83].

При всем богатстве тем, имен, концепций русская религиозная философия ограничена главной апологетической задачей – борьбой за христианское вероучение. Можно ли считать данную задачу исчерпывающей и указующей на однозначную самобытность русской философии именно в этом плане? Представляется, что русская философия как феномен не только национального бытия (поскольку философия всегда о всеобщем, сущностном) выходит за церковные рамки «детоводителя ко Христу» и свидетельствует о некоторых универсальных вещах, предназначенных, как говорил Н. Федоров, «для верующих и неверующих».

Одна из наиболее зримых особенностей русской философии в том, что свои наиболее сильные открытия она свершает по ту сторону академических запросов университетской традиции. Ее волнует то, что оставляет равнодушным представителей «школьной философии». Вот, например, А.С. Пушкин написал легко и непринужденно, как и большинство всего, написанного им, такие строки: «Дар напрасный, дар случайный», имея в виду жизнь, жизнь как таковую, жизнь без пошлых иллюзий. Это что: поэзия или философия? Или особая философия в поэтической форме?

В любом случае, это не логический вывод, это прозрение-подозрение, поэтическая истина, та самая художественная правда, которая часто бывает поругана. Точные и глубокие строки этого стихотворения, почти страшные слова повторяют на свой лад все высочайшие трагические прозрения от Екклесиаста и Паскаля до Платонова и Сиорана. Им бы мог позавидовать Шопенгауэр и даже Кьеркегор, знай они творчество русского гения. «Дар напрасный, дар случайный...» – одна из главных философем лирики Пушкина, которая засвидетельствовала рождение в России крупной самостоятельной мысли. Это философия по сути есть не логически-формальный вывод, но глубочайшая интуиция о том, что *жизнь бессмысленна*; что, по крайней мере, в ней нет того смысла, который ищет человеческая душа, вопрошает, алчет, мучается и страдает оттого, что не находит его. Это интуиция о неясном смысле, каком-то *тайном смысле бытия*, лежащем за пределами всех известных логических умозаключений о цели и ценности жизни.

Пушкин действительно прикоснулся к чему-то в высшей степени запретному, к тому, что не видится обыденному сознанию и что строго охраняется христианским богословием, не разрешающим самостоятельного размышления. Пушкин прикоснулся к роковой тайне бессмысленности человеческого бытия, прикоснулся так, что не смог вынести этого.

Л.Н. Толстой, увидев смерть брата, произнес строки, по скорбной глубине также равные библейской тоске Екклесиаста: «глупо, что мы рождаемся, глупо, что умираем». Эти слова резонируют, гармонируют, вступают в высший духовный унисон с пушкинскими, образуя мощный метафизический контекст, куда не могут просочиться никакие мелкие взоры, намертво прикованные к суете.

Поразившая Толстого смерть брата была настолько сильным откровением о бессмысленности человеческого существования, что он всю свою жизнь отчаянно боролся со смертью, особенно с ее страхом и ужасом, полагая, что именно смерть и выжигает смысл. Все, что ни делал Толстой в своей жизни – беспрецедентное писательство, уход в семью и детей, создание собственной религии, критика существующих государственных институтов, тяжба с официальным христианством, сакрализация мужицкого и крестьянского быта, подвижническая педагогика, *борьба с Шопенгауэром*, – все это было бегством от само-

го себя, от той страшной истины, которая однажды вдруг была ему подарена увиденной смертью брата.

Отсюда и моралистические упражнения, достигшие апофеоза в его последнем и как бы итоговом труде «Путь жизни». Здесь все – сплошь утешения, заклания телесно-греховной жизни, аскетические назидания, самоубеждения в незначительности смерти для тех, кто живет истинно-праведной жизнью. Но сквозь все эти прекрасные и благодушные нравственные максимы и сентенции, рассчитанные на то, чтобы стать последней «Книгой жизни», сквозит тот же страх и ужас, который посетил его в молодые годы.

Даже здесь, в «Пути жизни», можно встретить ну уж совсем по-розановски звучащие строки: «Я люблю свой сад, люблю читать книжку, люблю ласкать детей. Умирая, я лишаюсь этого, и потому мне не хочется умирать, и я боюсь смерти» [Толстой, с. 391].

И это уже не просто страх и ужас перед смертью («арзамасский ужас»), это уже *страх и ужас перед бессмысленностью существования*, которого праведная душа Толстого никак не могла выдержать, воспринимая это как личное оскорбление. Правда, непонятно от кого идущего. И это тоже, идущая от Пушкина, *интуиция бессмысленности* наличного бытия.

Французский современник Толстого Шарль Бодлер, видимо, чувствовал то же самое, но не боялся признаться в своем полном неведении:

*«Довод в пользу Бога. Ничто не существует бесцельно.*

Стало быть, и у моей жизни есть цель. Какая? Этого я не знаю.

Значит, не я ее назначил. Значит, это кто-то помудрее меня.

Значит, надо молиться этому кому-то, чтобы он меня просветил. Это самое благо-разумное» [Бодлер, с. 7–8].

В отличие от Бодлера Толстой не хотел молиться и хотел сам назначить цель жизни, исходя из своего человеческого понимания. Но этого не получилось. И его финальное бегство есть истинный показатель жизненного краха. В то же время это бегство и есть самый сильный поступок Толстого, самый главный его «текст», в котором он честно признался в том, в чем мешала признаваться его писательская и человеческая гордость всю жизнь. В реальной бессмысленности существования как такового, которое не поддается никакому пониманию и оправданию.

Титанизм Толстого, мучительно переживавшего всю жизнь ее бессмысленность, не вписывался в рамки никакой земной реальности, тем более реальности культурной. Бесчисленные критики Толстого, стремившиеся упрекнуть гения в недостаточной мыслительной развитости при несомненном художественном даровании, не замечали как раз очевидного: именно это ни с чем не сравнимое дарование и помогло художнику почувствовать неправду наличной жизни во всех ее проявлениях – от бытовых и религиозных до культурных и богемных.

Это выделяет и возвышает Толстого над всеми его и почитателями, и хулителями, приравнивая его к одиночным вершинам мирового духа, чьи мучения и вопрошания никогда не понятны «простым смертным». С такой точки зрения Толстой какой-то нелепый чужак, утопист, нигилист и моралист одновременно, не понимающий существующего порядка вещей и бредящий о чем-то несбыточном и непонятном.

Фундаментальная интуиция бессмысленности существования, так и не заполненная ничем суррогатным, разорвала и изуродовала жизнь Толстого, который и явил, в конце концов, великий венец мученичества – мученичества от самого тягостного и непостижимого в мире, от его бессмысленности. И не надо требовать от Толстого ничего. Можно лишь понять, что его путь жизни и есть наш путь, возможно, единственно достойный путь.

А.П. Чехов, проникнув в какие-то недоступные для взора обычного человека платы реальности, обычно говорил: «Скучно, господа». Это не бытовая констатация, это какой-то предельный «глас вопиющего», своей искренностью поразившей несметное число думающих людей, как в России, так и на Западе. Чуткие натуры поняли, что Чехов говорит не только о России; просто в России то, о чем он говорит, ощущается острее и сильнее, но его слова – это слова о *жизни как таковой*, о жизни, не имеющей исторических, национальных и культурных границ.

Чехов – это жертва. Жизнь расправилась с ним жестоко и беспощадно, одарив редкостным даром видеть пустоту окружающей действительности. Все эти пыльные, грязные, унылые пейзажи российской провинциальной действительности ни к чему не призывают; писатель менее всего стремился к тому, чтобы на кого-то повлиять, что-то изменить к «лучшему». Его творчество не относится ни к одному из существующих литературных жанров. Менее всего это сатира, ироническое обличение и прочие несущественные вещи. Можно, конечно, считать его экзистенциалистом. И это будет ближе всего к истине.

Но Чехов глубже экзистенциалистов потому, что у него не просто предельные состояния героев, у него – предельное состояние бытия, намертво оголенное в своей страшной бессмысленности. «Скучная история» – своего рода квинтэссенция такого состояния. Вся это история о том, как умирающий – известный и заслуженный ученый – попадает в тиски мертвящей бессмысленности жизни. Накануне смерти к нему приходит такое откровение: «... все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими».

Это говорит не какой-то заурядный неудачник; это слова человека, знаменитого в России и за рубежом, человека, чья жизнь прошла достойно по меркам общественных стандартов. Он посвятил себя благородному делу – служению науки, достиг выдающихся результатов, имеет семью, самое аристократическое знакомство. Чехов как бы нарочно «длинный список его славных друзей» венчает такими именами как Пирогов, Кавелин, Некрасов, которые дарили его «самой искренней и теплой дружбой». Большой насмешки, большего плевать в лицо общественной морали и придумать нельзя!

Иными словами, жизнь чеховского героя, как принято говорить, состоялась, удалась, свершилась. Такую жизнь называют счастливой: «Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всеу, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо» [Чехов, с. 251].

Чего ж еще желать? Грех ведь жаловаться на такую судьбу. Кругом полно «сырых и убогих», обездоленных, безвестных, забытых Богом и людьми, никому не нужных ничтожных существ, этих «маленьких людей». Их миллионы, они заполняют землю своим ничемным бытием. А здесь ведь совершенно иной случай. Состоявшаяся жизнь редкость. Откуда весь этот ропот? «И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека.

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем



видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья» [Чехов, с. 307].

Вся беда в том, что проживи он хоть тысячу лет или тысячу жизней, результат был бы тем же. Полный крах. Крах кого? Приличного, состоявшегося человека. Лучшего человека. Что ж говорить об остальных?!

Можно, конечно, объяснять эти состояния (как он сам и пытается иногда) тем, что герой смертельно болен. И его мысли не показательны, поскольку находятся под сильнейшим влиянием недуга. Но это не так. У героя нет того ужаса перед смертью, который испытывает несчастный человек в «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого. Между ними принципиальное отличие. В «Скучной истории» человек скорее равнодушен к своей смерти, и он мучим не *страхом смерти*, а *бессмысленностью жизни*, которая, может быть, и не связана непосредственно со смертью. И его мука (в этом мастерство Чехова) выходит за пределы лишь его частного случая и становится какой-то универсальной, всеобщей участью любого.

Но герой, «которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания», и раньше, когда был здоров и активен, чувствовал эту смертную тень бессмыслицы. Поэтому и топил себя в костном мозге, понимая, что нет никакой конечной цели мироздания и быть не может. И наукой он занимался скорее из-за понимания абсурдной ситуации жизни, нежели из-за «любви к истине». И чем больше он понимал эту нелепую ситуацию, тем упорнее трудился, ведь именно активный труд и вообще бурная деятельность отвлекают человека от «нехороших мыслей». Всю жизнь он пытался убежать от себя, но тщетно.

Это крах не ученого, отдавшего себя полностью науке, а поэтому и не заметившего жизнь, как можно было бы трактовать «Скучную историю». Это крах человека, любого человека. Крах любой жизни, какой бы успешной, удачной и счастливой она ни была.

И все творчество писателя, которое переходило легко и органично в жизнь и обратно, вопило о пошлой бессмысленной скуке существования, которую чувствует благородный человек. А даровитый чувствует ее вдвойне.

Обостренное чувство бессмысленности и «этого», и «того» мира, даже перед «лицем Господа» присуще Василию Розанову. Он как бы всем своим творчеством стремится доказать обратное, стремится найти в глубине своей личной метафизики и личного быта смысл и оправдание существующему. Все его обильное и интенсивное письмо призвано заполнить черные экзистенциальные дыры, которыми окружена жизнь. Но, увы, все тщетно. В «Опавших листьях» такие строчки: «На том свете буду без тем. Бог меня спросит: – Что же ты сделал? – Ничего» [Розанов, с. 77].

И вот вновь и вновь бросается Розанов в омут бесконечного письма, разрушая все существующие каноны и стандарты и изобретая новые, движимый лишь одним – уйти, убежать, спрятаться от ужаса бессмыслицы, которая, как восставший из гроба покойник, протягивает свои страшные руки к несчастному, оставшемуся почему-то еще в живых...

Леонид Андреев, Александр Блок, Андрей Платонов и множество других русских умных, талантливых и порядочных людей чувствуют, видят и понимают *правду жизни*, которая заключается в *честном признании ее исконной бессмысленности*. Можно сказать, что русская литература – это какое-то невероятно пронзительное и достоверное откровение о бессмысленности, за которым – чаяние смысла, высшего и абсолютного. Это, пожалуй, «родовая» черта русской литературно-художественной традиции, которая тем и отличается от всех остальных, что для литературы она слишком «тяжела», а для философии слишком «легковесна» (то есть художественна). Здесь тот таинственный «литературоцентризм», мета-жанр, мета-стиль, и мета-дискурс, и мета-нарратив русской словесной культуры. А в действительности – это только честный и правдивый взгляд на вещи, для которого не находится строго канонического жанра.

Но вдруг это все-таки лишь литература, которой, так или иначе, свойственно искажать правду жизни во имя эстетических целей? Может ли вообще чье-то творчество (писателя или философа) быть мерилom и критерием действительного положения вещей?

Может. Дело в том, что писателям нечего терять. Они могут говорить самые ужасные вещи о жизни, прячась под маской творчества. Контрабандой они протаскивают в

жизнь ее правду. В том-то все и дело, чтобы сверить, соотнести свои собственные ощущения и переживания с теми, о которых говорят они на своих лучших страницах.

Но, конечно, было бы неправильно только писателям приписывать истинные откровения о жизни. Просто их слова доходчивее в силу художественной экспрессивности письма. Но и не писатели чувствуют и понимают то же самое. Богослов и священник А. Шмеман уже не на уровне интуиции, но в терминах социологической фактичности говорит о мире, «полном бессмыслицы и пустоты, постоянно нуждающемся в шуме, чтобы прекратить эту пустоту» [Шмеман, с. 174]. Духовно чуткий взор его видит разъедающую пустоту мира, то есть его бессмысленность. Но, будучи все-таки богословом, он относит это *исключительно к духовной ситуации современности*, которая может быть преодолена *усилием веры* (в частности, через возвращение религиозного смысла смерти).

Но эта ситуация *всеобща*; она не только характерна для современного «шума»; мир впустую шумит всегда – и до, и во время, и «после» христианства. Это бытийное свойство мира быть пустым. И, увы, никакие усилия миссионерского плана не исправляют ситуацию онтологически. Иначе она была бы уже исправлена. И титаническая духовная работа Гоголя, Леонтьева, Достоевского, Толстого, Федорова, Соловьева, Бердяева, Франка, Трубецкого, Шестова, Розанова, Платонова и других представителей русской философской культуры как раз и направлена на преодоление этой разъедающей бессмыслицы, которая должна быть все же опознана как реальность.

Но не только «интеллектуальная элита» все это чувствует, это чувствует и знает простой человек, простой русский человек, который вступил в смертную схватку с этой бессмыслицей, пожертвовав навсегда своим бытовым комфортом и уютом. Вся эта нудная и тяжелая жизнь, чья тяжесть определяется не экономическими категориями, но «невыносимой легкостью» бессмыслицы, которая жжет несравнимо сильнее, нежели всяческие хозяйственные неурядицы. Если смотреть на русскую историю не в социальных категориях, в которых всегда задним числом находится какой-то рациональный смысл тех или иных неурядиц, но через ткань литературно-философских озарений, которые, несмотря на всю «субъективность», присущую человеческому как таковому, все же достовернее изображают действительность. Так вот, если посмотреть на жизнь таким взором, то откроется многое. Откроется главное – вся духовная (или психологическая), метафизическая и прочая энергия творчества направлена на одно – *на борьбу с бессмыслицей*. Но прежде чем бороться с ней, ее нужно было заметить, опознать и испугаться, поразившись ее нечеловеческому смыслу, идущему вразрез со всеми привычными устоями существования.

В России все наиболее значимое свершается вопреки рациональному, то есть системному, механическому и бездушному. Вот почему жизнь никогда не была предметом рационального осмысления. И когда русские философы ищут «смысл жизни», то они ищут не ее прагматической цели, они алчут высшей правды. Вся мощь русской культуры, русский гений – это прорыв сквозь рациональное, то есть постижимое, известное и оправданное. И главный прорыв – это прорыв *к истине о смысле существования сквозь явную бессмыслицу*.

Этот прорыв высказал себя в форме интуиции. Интуиция эта негромкая, но фундаментальная, определившая «дух и стиль русской культуры», ее логос и архетип. Это почти что догадка, страшное откровение, но и плод долгого смотрения, расслушивания и разглядывания. Здесь нет пессимизма и отчаяния – родовых мет западной культуры; здесь лишь тихая мудрость прозрения, захватившего своей стихией все наиболее яркие и глубокие проявления национального духа.

Это всечеловеческая интуиция, преломленная через национальную культуру и породившая совершенно особый отличительный взор. Взор, пронизанной тоской. Это именно интуиция, поскольку ни доказать, ни показать бессмысленность жизни нельзя. Нельзя даже подойти к этому рационально; есть какое-то препятствие, не позволяющее прямо и открыто сформулировать положение о бессмысленности и сделать его универсальным принципом. Лишь неброский голос интуиции, неброский, но безошибочный, говорит нам о том, что жизнь бессмысленна до самых последних и глубоких основ, до самой невероятной жути. Но кто будет смотреть в этот жуткий омут, где властвуют силы, коим нет места в обыденном порядке сущего?



Кто-то будет неистово творить, испугавшись и поразившись факту бессмысленности, кто-то также будет неистово разрушать сложившийся порядок, в котором легитимизована эта бессмысленность. А кто-то тихо присмотрится к тому, что есть, в робкой надежде разглядеть в существующем какие-то обнадеживающие знаки, то есть подлинный высший смысл. И вот умение разглядеть эти обнадеживающие знаки и есть подлинный смысл русского философского умозрения, которое гораздо глубже, чем просто литературный опыт изящной словесности, но и гораздо жизненнее в экзистенциальном смысле, нежели теоретические построения рациональной философии, в равной степени удаленные и от литературы, и от «живой жизни». В конечном счете и религиозная философия в своей борьбе за христианство боролась за высший смысл, который она в нем видела.

### Список литературы References

1. Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. М.: Лимбус Пресс, 2014. 528 с.  
Bodler Sh. Moe obnazhennoe serdce. M.: Limbus Press, 2014. 528 s.
2. Паршин А.Н. Русская религиозная мысль: Возрождение или консервация // Семинар «Русская философия (традиция и современность)»: 2004–2009. М.: Русский путь, 2011. 592 с.  
Parshin A.N. Russkaja religioznaja mysl': Vozrozhdenie ili konservacija // Seminar «Russkaja filosofija (tradicija i sovremennost')»: 2004–2009. M.: Russkij put', 2011. 592 s.
3. Розанов В.В. Собрание сочинений. Листва. М.: Республика, СПб.: Росток, 2010. 591 с.  
Rozanov V.V. Sbranie sochinenij. Listva. M.: Respublika, SPb.: Rostok, 2010. 591 s.
4. Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Эксмо, 2009. 448 с.  
Tolstoj L.N. Put' zhizni. M.: Jeksmo, 2009. 448 s.
5. Чехов А.П. «Скучная история» // Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М.: Наука, 1985. Т. 7. С. 251–311.  
Chehov A.P. «Skuchnaja istorija» // Polnoe sobranie sochinenij i pisem v tridcati tomah. M.: Nauka, 1985. T. 7. S. 251–311.
6. Шмеман А., прот. Литургия смерти и современная культура. М.: Гранат, 2013. 176 с.  
Shmeman A., prot. Liturgija smerti i sovremennaja kul'tura. M.: Granat, 2013. 176 s.